

Варлам Шаламов

Ягоды

Фадеев сказал:

– Подожди-ка, я с ним сам поговорю, – подошел ко мне и поставил приклад винтовки около моей головы.

Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое место в цепочке людей, спускающихся с горы, – у каждого на плече было бревно, «палка дров», у кого побольше, у кого поменьше: все торопились домой, и конвоиры и заключенные, всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день. А я – лежал в снегу.

Фадеев всегда говорил с заключенными на «вы».

– Слушайте, старик, – сказал он, – быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный симулянт. Вы фашист. В час, когда наша родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса.

– Я не фашист, – сказал я, – я больной и голодный человек. Это ты фашист. Ты читаешь в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей невесте, что ты делал на Колыме.

Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых, я не боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным движением – я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру – тем лучше.

– Послушайте, – сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих сапог. – Не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата.

Подошел другой конвоир – Серошاپка.

– Ну-ка, покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой да некрасивый. Завтра я тебя пристрелю собственноручно. Понял?

– Понял, – сказал я, поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну.

Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей – они замерзли, пока меня били.

На следующее утро Серошاپка вывел нас на работу – в вырубленный еще прошлой зимой лес собирать все, что можно сжечь зимой в железных печах. Лес валили зимой – пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагами-рычагами, пилили и складывали в штабеля.

На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Серошاپка развесил вешки, связанные из желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками запретную зону.

Наш бригадир развел на пригорке костер для Серошاپки – костер на работе полагался только конвою, – натаскал дров в запас.

Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндевевшая трава скользила в руках и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел невысокий горный шиповник, темно-лиловые замороженные ягоды были аромата необычайного. Еще вкуснее шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сизая... На коротеньких прямых веточках висели ягоды голубики – яркого синего цвета, сморщенные, как пустой кожаный кошелек, но хранившие в себе темный, иссиня-черный сок неизреченного вкуса.

Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе не похожи на ягоды зрелости, ягоды сочной поры. Вкус их гораздо тоньше.

Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш перекур и даже в те минуты, когда Серошاپка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков наберет полную банку, ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным делом.

У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая языком к небу каждую ягоду – сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманил меня на секунду.

Я не думал о помощи Рыбакову в сборе, да и он не захотел бы такой помощи – хлебом пришлось бы делиться.

Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно, ягоды становились все реже и реже, и незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам зоны – вешки повисли над нашей головой.

– Смотри-ка, – сказал я Рыбакову, – вернемся.

А впереди были кочки с ягодами шиповника, и голубики, и брусники... Мы видели эти кочки давно. Дереву, на котором висела вешка, надо было стоять на два метра подальше.

Рыбаков показал на банку, еще не полную, и на спускающееся к горизонту солнце и медленно стал подходить к очарованным ягодам.

Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, размахивая винтовкой, кричал:

– Оставьте на месте, не подходите!

Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два – первый бывает предупредительный.

Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были огромны, и бог весть сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками.

Баночка Рыбакова откатилась далеко, я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может быть, мне дадут хлеба за эти ягоды – я ведь знал, для кого их собирал Рыбаков.

Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и повел нас домой.

Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся.

– Тебя хотел, – сказал Серошапка, – да ведь не сунулся, сволочь!..

Варлам Шаламов

Детские картинки

Нас выгоняли на работу без всяких списков, отсчитывали в воротах пятёрки. Строили всегда по пятёркам, ибо таблицей умножения умели бегло пользоваться далеко не все конвоиры. Любое арифметическое действие, если его производить на морозе и притом на живом материале, — штука серьёзная. Чаша арестантского терпения может переполниться внезапно, и начальство считалось с этим.

Нынче у нас была легкая работа, блатная работа — пилка дров на циркулярной пиле. Пила вращалась в станке, легонько постукивая. Мы заваливали огромное бревно на станок и медленно подвигали к пиле.

Пила взвизгивала и яростно рычала — ей, как и нам, не нравилась работа на Севере, но мы двигали бревно всё вперёд и вперёд, и вот бревно распадалось на две части, неожиданно лёгкие отрезки.

Третий наш товарищ колот дрова тяжелым синеватым колуном на длинной жёлтой ручке. Толстые чурки он окалывал с краёв, те, что потоньше, разрубал с первого удара. Удары были слабы — товарищ наш был так же голоден, как и мы, но замороженная лиственница колется легко. Природа на Севере не безразлична, не равнодушна — она в сговоре с теми, кто послал нас сюда.

Мы кончили работу, сложили дрова и стали ждать конвоя. Конвоир-то у нас был, он грелся в учреждении, для которого мы пилили дрова, но домой полагалось возвращаться в полном параде — всей партией, разбившейся в городе на малые группы.

Кончив работу, греться мы не пошли. Давно уже мы заметили большую мусорную кучу близ забора — дело, которым нельзя пренебрегать. Оба моих товарища ловко и привычно обследовали кучу, снимая заледеневшие наслоения одно за другим. Куски замороженного хлеба, смёрзшийся комок котлет и рваные мужские носки были их добычей. Самым ценным были, конечно, носки, и я жалел, что не мне досталась эта находка. Носки, шарфы, перчатки, рубашки, брюки вольные — «штатские» — большая ценность среди людей, десятилетиями надевающих лишь казённые вещи. Носки можно починить, залатать — вот и табак, вот и хлеб.

Удача товарищей не давала мне покоя. Я тоже отламывал ногами и руками разноцветные куски мусорной кучи. Отодвинув какую-то тряпку, похожую на человеческие кишки, я увидел — впервые за много лет — серую ученическую тетрадку.

Это была обыкновенная школьная тетрадка, детская тетрадка для рисования. Все её страницы были разрисованы красками, тщательно и трудолюбиво. Я перевёртывал хрупкую на морозе бумагу, заиндевелые яркие и холодные наивные листы. И я рисовал когда-то — давно это было, — примостясь у семилитровой керосиновой лампы на обеденном столе. От прикосновения волшебных кисточек оживал мёртвый богатырь сказки, как бы спрыснутый живой водой. Акварельные краски, похожие на женские пуговицы, лежали в белой жестяной коробке. Иван Царевич на сером волке скакал по еловому лесу. Ёлки были меньше серого волка. Иван Царевич сидел верхом на волке так, как эвенки ездят на оленях, почти касаясь пятками мха. Дым пружиной поднимался к небу, и птички, как отчёркнутые галочки, виднелись в синем звёздном небе.

И чем сильнее я вспоминал своё детство, тем яснее понимал, что детство моё не повторится, что я не встречу и тени его в чужой ребяческой тетради.

Это была грозная тетрадь.

Северный город был деревянным, заборы и стены домов красились светлой охрой, и кисточка юного художника честно повторила этот жёлтый цвет везде, где мальчик хотел говорить об уличных зданиях, об изделии рук человеческих.

В тетрадке было много, очень много заборов. Люди и дома почти на каждом рисунке были огорожены жёлтыми ровными заборами, обвитыми чёрными линиями колючей проволоки. Железные нити казённого образца покрывали все заборы в детской тетрадке.

Около забора стояли люди. Люди тетрадки не были ни крестьянами, ни рабочими, ни охотниками — это были солдаты, это были конвойные и часовые с винтовками. Дождевые будки-грибы, около которых юный художник разместил конвойных и часовых, стояли у подножья огромных караульных вышек. И на вышках ходили солдаты, блестели винтовочные стволы.

Тетрадка была невелика, но мальчик успел нарисовать в ней все времена года своего родного города.

Яркая земля, однотонно-зелёная, как на картинах раннего Матисса, и синее-синее небо, свежее, чистое и ясное. Закаты и восходы были добротны алыми, и это не было детским неумением найти полутона, цветовые переходы, раскрыть секреты светотени.

Сочетания красок в школьной тетради были правдивым изображением неба Дальнего Севера, краски которого необычайно чисты и ясны и не имеют полутонов.

Я вспомнил старую северную легенду о боге, который был ещё ребёнком, когда создавал тайгу. Красок было немного, краски были по-ребячески чисты, рисунки просты и ясны, сюжеты их немудрёные.

После, когда бог вырос, стал взрослым, он научился вырезать причудливые узоры листов, выдумал множество разноцветных птиц. Детский мир надоел богу, и он закидал снегом таёжное своё творенье и ушёл на юг навсегда. Так говорила легенда.

И в зимних рисунках ребёнок не отошёл от истины. Зелень исчезла. Деревья были чёрными и голыми. Это были даурские лиственницы, а не сосны и ёлки моего детства.

Шла северная охота; зубастая немецкая овчарка натягивала поводок, который держал в руке Иван Царевич. Иван Царевич был в шапке-ушанке военного образца, в белом овчинном полушубке, в валенках и в глубоких рукавицах, крагах, как их называют на Дальнем Севере. За плечами Ивана Царевича висел автомат. Голые треугольные деревья были натканы в снег.

Ребёнок ничего не увидел, ничего не запомнил, кроме жёлтых домов, колючей проволоки, вышек, овчарок, конвоиров с автоматами и синего, синего неба.

Товарищ мой заглянул в тетрадку и пощупал листы.

— Газету бы лучше искал на курево. — Он вырвал тетрадку из моих рук, скомкал и бросил в мусорную кучу. Тетрадка стала покрываться инеем.